

Сорель Альбер

Госпожа де-Сталь

**Москва
«Книга по Требованию»**

УДК 82-3
ББК 84-4
А56

А56 **Альбер С.**
Госпожа де-Сталь / Сорель Альбер – М.: Книга по Требованию, 2024. – 130 с.

ISBN 978-5-519-74977-0

ISBN 978-5-519-74977-0

© Издание на русском языке, оформление
«YOYO Media», 2024
© Издание на русском языке, оцифровка,
«Книга по Требованию», 2024

Эта книга является репринтом оригинала, который мы создали специально для Вас, используя запатентованные технологии производства репринтных книг и печати по требованию.

Сначала мы отсканировали каждую страницу оригинала этой редкой книги на профессиональном оборудовании. Затем с помощью специально разработанных программ мы произвели очистку изображения от пятен, клякс, перегибов и попытались отбелить и выровнять каждую страницу книги. К сожалению, некоторые страницы нельзя вернуть в изначальное состояние, и если их было трудно читать в оригинале, то даже при цифровой реставрации их невозможно улучшить.

Разумеется, автоматизированная программная обработка репринтных книг — не самое лучшее решение для восстановления текста в его первоизданном виде, однако, наша цель — вернуть читателю точную копию книги, которой может быть несколько веков.

Поэтому мы предупреждаем о возможных погрешностях восстановленного репринтного издания. В издании могут отсутствовать одна или несколько страниц текста, могут встретиться невыводимые пятна и кляксы, надписи на полях или подчеркивания в тексте, нечитаемые фрагменты текста или загибы страниц. Покупать или не покупать подобные издания — решать Вам, мы же делаем все возможное, чтобы редкие и ценные книги, еще недавно утраченные и несправедливо забытые, вновь стали доступными для всех читателей.

ной тревогой обращалось къ предметамъ вѣры. Эта женевская гражданка, поселенная среди парижанъ, эта затерявшаяся между нечестивцевъ христіанка,—любила своихъ новыхъ соотечественниковъ и въ то же время не давала имъ вѣры; она внимала имъ и не одобряла ихъ сужденій, она ихъ порицала и теряла, однако, надежду обратить ихъ на путь истины. Такое двусмысленное положеніе уязвляло лучшія стороны ея природы—ея правое сердце и ея здравый разумъ.

Такова была среда, въ которой 22-го апрѣля 1766 года увидѣла свѣтъ и воспиталась Жермена Неккеръ. Удивительно рано развились разумъ и сердце этого дитяти, отличавшагося рѣзвымъ нравомъ. Жермена сдѣлалась утѣшеніемъ своего отца. Геній ея развивался самопроизвольно и пробивался чрезъ всѣ поры ея существа.

Едва начала Жермена мыслить, она уже стала разсуждать; и лишь только она стала чувствовать, она уже пламенѣла. Одиннадцати лѣтъ она уже присутствовала при пріемахъ. Она помѣщалась при этомъ на деревянной скамеечкѣ, въ ногахъ у матери и такъ оставалась молчаливая и на сто-рожѣ. Въ эти свои годы она отмолчалась за всю остальную свою жизнь. А между тѣмъ теперь ей пришлось слушать рѣчи Рейналя, Томаса, Гримма, Бюффона, Морелли, Сюара. Всѣ эти лица обращали на нее очень большое вниманіе и охотно слѣдили за тѣмъ, какъ отражались ихъ сужденія на подвижныхъ чертахъ ея лица. Между прочимъ, много они толковали и о театрѣ. Мармонтель и Лагарпъ посвящали ему безконечныя разсужденія и подкрѣпляли эти разсужденія своими собственными цитатами. Иногда посѣщала собранія мадемуазель Клеронъ. Жермена пользовалась ея уроками. Она ѣздила съ родителями во Французскую комедію и принялась писать пьесы для своего кукольнаго театра. Изъ этого занятія она извлекла нѣкоторую пользу для своего творчества.

Согласно вкусамъ своего времени, она набросала нѣсколько портретовъ. Когда ей было пятнадцать лѣтъ, она сдѣлала извлеченія изъ сочиненія „О духѣ законовъ“ и составила очеркъ „Отчета“ своего отца. Рейналь поручилъ ей для своей компиляціи „О двухъ Индіяхъ“ написать выдержку

объ отиѣнѣ Нантскаго эдикта. Читала она все, что попадало ей подъ руку; всякому другому чтенію она предпочитала романы, а между романами такіе, которые отличались особенно возбуждательнымъ содержаніемъ. Нельзя опредѣлить съ точностію, когда именно она познакомилась съ сочиненіями Руссо. Онъ сдѣлался первымъ предметомъ ея поклоненія. Похищеніе Клариссы имѣло значеніе эпохи для ея собственной жизни. „Вертеръ“, какъ сама она говоритъ, — „обозначилъ эпоху въ моей жизни“. Вертеръ возбудилъ ея сочувствіе и состраданіе, Ловласъ — ослѣпилъ ее, ужаснулъ и околдовалъ надолго. „Ее привлекало то, что заставляло ее плакать“, говоритъ одна изъ ея подругъ. Сердце ея билось сильнѣе, когда она встрѣчалась съ какою-нибудь знаменитою личностію. Похвалы, расточавшіяся ея отцу, заставляли ее утопать въ слезахъ. Ей было только еще 17 лѣтъ, когда она, встрѣтившись съ престарѣлою маршальшею де-Муши, спросила эту послѣднюю: „Какого вы мнѣнія о любви?“ „Быть можетъ, изъ нея выработается безумица, но вѣрно, во всякомъ случаѣ, то, что она будетъ несчастна“, сказалъ о ней докторъ Троншенъ.

Такъ сложился одинъ изъ самыхъ выдающихся и обширныхъ умовъ: умъ этотъ отличался ненасытимомъ алчностью все познать, способностью все обнять; это былъ не просто интеллектъ, но интеллектъ одержимый симпатіею; онъ обладалъ даромъ провидѣнія чужихъ идей и даромъ моментальнаго вдохновенія своими собственными идеями: и проникновеніе въ чужіе помыслы, и вдохновеніе собственными своими были слѣдствіемъ отнюдь не размышленій, а рождались, такъ сказать, на лету. Промежутка между мыслью и рѣчью здѣсь не существовало: едва мысль нарождалась, она уже облекалась въ слово. „Бесѣда была ея вдохновительницею и ея музою“, выразился о ней человѣкъ, наиболѣе ее понявшій и съ наибольшею тонкостью анализировавшій ее. Она, такимъ образомъ, жила въ состояніи постоянного общенія и импровизаціи.

Она не обладала ни силою управлять собою, ни способностію сосредоточенія въ себѣ самой, ни терпѣливостію мышленія, ее тяготила всякая усидчивость. Широкими взмахами своихъ крыльевъ она неслась впередъ; она не ползла

вслѣдъ за своими идеями, но она такъ же рѣдко могла спокойно держаться на ихъ высотѣ. Никогда она не давала себѣ труда углубляться во что-нибудь. Ей невѣдома была та дисциплина ума, которая составляетъ здравую прелесть и силу г-жи Севинье; та дисциплина ума, которая порождаетъ естественность въ высокому стилѣ, способность выражаться лучше всѣхъ, которая даетъ способность орудовать языкомъ, владѣть имъ въ самыхъ его основахъ и быть особенно точнымъ именно въ то время, когда писатель является наиболѣе оригинальнымъ. Мысль г-жи де-Сталь знать не хотѣла стѣсненій Портъ-Рояля, рѣчь ея становилась на дыбы отъ узды Кандильяка. Она не признавала ни методы, ни грамматики. Ея стремленія всегда брали верхъ надъ теченіемъ ея мыслей; вслѣдствіе тѣхъ же самыхъ побужденій сердце ея очень часто брало верхъ надъ ея словами и поступками.

И это сердце пламенное, тревожное, но и честное, расточавшее, какъ свои привязанности, такъ и свою довѣрчивость, жаждавшее взаимности и нетерпѣливо требовавшее благодарности, сердце, главнымъ свойствомъ котораго было великодушіе—сердце это было такъ же богато одарено отъ природы, какъ и разумъ г-жи де-Сталь. „У меня много задатковъ къ тому, чтобы быть счастливой“, говоритъ Коринна. Жермена Неккеръ, съ своей стороны, жаждала счастія такъ же алчно, какъ она жаждала мысли и не могла насытиться ни тѣмъ, ни другимъ. Для своихъ порывистыхъ привязанностей она не признавала препятствій ни въ себѣ, ни въ другихъ. Она не желала считаться ни съ помѣхами, которыя ставилъ свѣтъ, ни съ противорѣчіями чувства, ни съ другими злобами жизни, которыя наносятъ удары страстямъ и ихъ истощаютъ. Однимъ словомъ всѣ ея чувства переходили въ страсть, страсть же въ бурю. „Ея всепоглощающее воображеніе уносило съ собою все вокругъ нея, и первую ее самоё; то былъ рычагъ, посредствомъ котораго она управляла душами; и свою собственную душу она потрясла имъ; и душа ея никогда не знала покоя. „Я, благодаря моему воображенію, чувствую себя постоянно въ башнѣ Уголино“, признавалась она впослѣдствіи.

Со всѣмъ тѣмъ въ основѣ своей природы она обладала здравымъ смысломъ и здоровой нравственностію; это ее и спасло среди бурь. Если она не могла понять того, чего другіе не чувствуютъ такъ, какъ она, то, по крайней мѣрѣ, ея собственныя чувства всегда были искренни. Искренность чувствъ и была той мѣркою, которою она всегда измѣряла сама себя. Лишь только проходилъ угаръ страсти, равновѣсіе чувствъ восстанавливалось въ ней, и она дѣлалась способной обсуждать свои дѣйствія. Такой судъ надъ собственной совѣстію приводилъ ее къ тому, что она была необыкновенно проницательна и правдива. Однако, если судъ этотъ просвѣтилъ ее разумѣніе, тѣмъ не менѣе она не дѣлалась отъ этого счастливѣе. Вѣрность ея анализа, въ большинствѣ случаевъ, лишь изощряла ея страданія. Въ концѣ концовъ, такъ какъ она была по существу добра, страданія ея въ окончательной своей формѣ переродились въ чувство состраданія къ другимъ.

Необходимо въ самомъ началѣ замѣтить особенности ея характера, такъ какъ ими обусловлена вся ея геніальность. Ея жизнь—слѣдствіе ея мятежныхъ чувствъ и ея терзаній. Ея произведенія—итоги ея образа сужденій и ея сострадательныхъ наклонностей. По мѣрѣ того, какъ она проходила свое жизненное поприще, она обрѣтала способность обзрѣвать свое прошлое съ извѣстной высоты—она извлекла изъ собственныхъ испытаній свою мораль, все болѣе и болѣе совершенную. То, что было надломленнымъ въ ея жизни, то стало стройнымъ въ ея произведеніяхъ. Такимъ образомъ жизнь полная смятеній, полная мятежныхъ поступковъ и нерѣдко слабостей породила созданія, отличавшіяся мужественною силою и преисполненныя великодушіемъ.

По счастью и для себя, и для тѣхъ, кто ее окружалъ, она чувствовала неодолимую потребность развлеченій. Ей была прирождена очень гибкая способность радости, и если только сердце ея не находилось въ смятеніи, она чарующимъ образомъ отдавалась общенію съ людьми.

„Въ умѣ Коринны было много игривости. Она подмѣчала смѣшное съ остроуміемъ француженки и умѣла изобразить

это смѣшное съ силой воображенія итальянки, но ко всему этому она примѣшивала доброе чувство. Никогда въ ней не замѣчали ничего враждебно рассчитаннаго: вѣдь, во всякомъ случаѣ оскорбляетъ собственно холодность, но никакъ не воображеніе, которому всегда присуща доля добродушія“. О Дельфинѣ говорится: „Она всегда выражалась самымъ изысканнымъ языкомъ; душевныя движенія ея всегда были естественны; она отличалась игривымъ умомъ и меланхолическими чувствованіями; она была экзальтирована и естественна, привлекательна и энергична! Въ ней очаровывала смѣсь генія и чистоты, нѣжности и силы! Въ одинаковой степени, она обладала всѣмъ, что только можетъ вызвать удивленіе глубокаго мыслителя, что можетъ удовлетворить самый обыкновенный умъ, лишь бы только умъ этотъ самъ склоненъ былъ къ добротѣ, лишь бы только самъ онъ стремился къ этому трогательному свойству и искалъ его въ поступкахъ наиболѣе естественныхъ и благородныхъ, наиболѣе обворожительныхъ и наивныхъ“.

Такою она изображала себя и такою стремилась явить себя на жизненномъ поприщѣ. Она не признавала ни славы, ни счастья внѣ этого поприща. Въ этой средѣ она интересовалась всѣмъ: чувствами, политикой, искусствомъ, литературой, философіей. Затѣмъ, все остальное въ свѣтѣ было ей чуждо. Она не любила ни прогулки, ни природы, которая, сама по себѣ, казалось ей мертвою; мечтаніе обезсиливало ее; отчужденіе приводило ее въ смущеніе; она приходила въ ужасъ отъ одиночества. У нея было свое уязвимое мѣсто, свое жало: это—скука. Общество составляло прелесть ея существованія; оно было ея необходимостію. Только въ Парижѣ она чувствовала себя довольной и здоровой.

Было нѣчто такое, что преисполняло ее и рвалось изъ нея наружу: она искала счастья въ энтузізмѣ, а между тѣмъ строила свой энтузізмъ на такой почвѣ, которая являлась зыбучими и подвижными песками. Ея нравственный характеръ возмущался противъ условій и предразсудковъ общества—точно также, какъ умъ ея возмущался методами школы и правилами грамматики. Она имѣла притязаніе къ господству

въ обществѣ, но въ то же время освобождала себя отъ перваго изъ условій, налагаемыхъ этимъ господствомъ: она не признавала этикета—искусства, повелѣвать другими, повелѣвать собою. Ея природа не только чуждается лицемерія и свѣтской стратегіи, но даже простой скромности и того благоразумія, которое можетъ быть названо проявленіемъ тонкаго ума въ поступкахъ. Для нея не существовало промежутка между мыслью и дѣйствіемъ, подобно тому, какъ нѣтъ промежутка между помыслами и рѣчью. Одинъ изъ ея друзей, хорошо ее знавшій, говорилъ ей: „Вашъ характеръ неспособенъ презирать тѣ докучливыя условія, съ которыми сталкиваются тотъ, кто хочетъ блистать“.

Эта боязнь скуки или другими словами, отчужденія, это жажда развлеченія, жажда—блистать и нравиться, соединенныя съ полною неспособностью къ принужденію, постоянно дѣлали ее непослѣдовательною въ своихъ поступкахъ. Она обладала душою мужественною и стремительною, но она считалась и со всѣми слабостями женской природы. „Если“, говорила она о Дельфинѣ,—„Дельфина, благодаря своему уму, независима, то за то, по своему характеру, она нуждается въ опорѣ“. Свойства ума и гений Жермены увлекали ее, хотя возвраты къ самой себѣ всегда круто слѣдовали затѣмъ. Чаше всего она такъ пренебрегала предосторожностями и настолько незаботилась о томъ, чтобы обезпечить за собою путь къ отступленію, что своими дѣйствіями давала обильную пищу для злословія и для завистливой посредственности.

Эти основныя противорѣчія характера повели къ двоякому поклоненію, которыми ознаменовалась юность Жермены: одно изъ поклоненій Жермены такъ и продолжалось во всю ея остальную жизнь: это поклоненіе—религіозное чувство семейственности, культъ домашняго очага, поклоненіе Неккеру; другое поклоненіе—поклоненіе чуждому кумиру, культъ коварныхъ таинствъ, культъ, сопровождавшійся отравленными фиміамами, культъ, отъ котораго она отвернулась лишь мало по малу, но который смутилъ ее навсегда—культъ Руссо. Неккеръ и Руссо олицетворяютъ въ себѣ добродѣтель и обѣщаютъ счастье. Неккеръ полагаетъ счастье въ добродѣтели; во имя

этой-то добродѣтели геній Жермены и обращается къ нему; Руссо ищетъ добродѣтели въ счастіи; его софистическая добродѣтель воспламеняла воображеніе Жермены.

Будучи двадцати лѣтъ, она еще предавалась грезамъ. Когда ей было девятнадцать, она отмѣтила въ своемъ дневникѣ: „Женщина не должна искать для себя самой: все счастіе ея должно заключиться въ томъ, что она любитъ“. Когда ей минуло тридцать лѣтъ, она высказала слѣдующее признаніе одному изъ друзей: „Я все затратила на любовь. Всѣ чувства въ молодости возникаютъ изъ этого источника“. Въ сорокалѣтнемъ возрастѣ она высказывается словами Коринны: „Если я искала славы, то потому, что при ея помощи надѣялась заставить себя любить. И вотъ, когда Жермена достигла славы, она рѣшила, что безъ любви—все суета, и пришла къ слѣдующему заключенію: „Безъ любви сама слава лишь трауръ по несбывшемся счастіи“. Все ея честолюбіе заключалось въ томъ, что она страстно желала нравиться, увлекаемая потокомъ любви. И тѣмъ съ большею пылкостью она желала казаться блистательною, чѣмъ менѣе сознавала себя красивою.

Ея поклонники изображаютъ ее музою, съ лирою въ рукахъ. Это—„самая знаменитая изъ жриць Аполлона, любимца бога; ему наиболѣе пріятны ея оиміамы... Ея большіе черные глаза сіяютъ свѣтомъ генія; ея темные, какъ черное дерево, волосы, ниспадають на ея плечи волнами; черты ея лица скорѣе выразительны, чѣмъ нѣжны; въ нихъ сказывается нѣчто такое, что ставитъ ее выше ея назначенія, какъ женщины“... И самаго назначенія этого здѣсь не чувствуется: устранимъ изъ этого портрета мифологическіе его атрибуты, его аллегорическую основу, передъ вами останется женщина средняго роста, нѣсколько коренастая, правда не лишняя граціи и ловкости, но не одаренная тѣми гибкостью и изяществомъ нимфы, которыми отличается чарующій типъ красота того времени, типъ, который должны были обезсмертить Давидъ и Жераръ въ портретахъ Жюльетты Рекамье и г-жи Реньо де Сентъ-Жанъ д'Анжели.

Это не Амелія, ни даже Коринна; это Дидона, дѣва еще,

но уже предназначенная для страстей. Черты ея выразительны; цвѣтъ ея лица болѣе смуглъ, чѣмъ свѣжъ; однако онъ играетъ краской и оживляется подъ вліяніемъ разговора; плечи ея какъ бы изваяны; руки ея мощны, сильны, руки владычицы, а не сентиментальной кокетки; лобъ широкъ; волосы черные и густо ниспадающіе волнами; носъ крупный; ротъ рѣзко обрисованъ; губы пышныя: онѣ широко отверзлись для слова и жизни; это уста оратора, запечатлѣннаго открытой и благодушной улыбкой; самъ геній блещетъ въ ея взорахъ, и взоры эти мечутъ искры свѣта: взоры довѣрчивые, чудные, глубокіе, сладкіе въ своемъ покоѣ, повелительные, когда пронзаютъ ихъ молнія. Но чтобы сверкала эта молнія, необходимъ треножникъ-вдохновитель. Жерменѣ необходима рѣчь, чтобы прельщать и побуждать, а послѣднее тоже необходимо ей, чтобы быть любимой: изъ этого вытекаетъ что-то особенно тревожное не только въ ея стремленіи нравиться, но и въ самой ея благосклонности. Ея честолюбіе на послугахъ у ея чувства; но чувство это заимствуетъ нѣчто тревожное и даже жесткое у честолюбія. То любовь, но любовь, какъ понимаетъ ее мужчина, любовь властная. Сверхъ того, она не можетъ быть счастливой, если ею все-таки не властвуетъ тотъ человѣкъ, котораго она любитъ. Въ жизни ей необходимъ руководитель, другъ, „ровестникъ, подлѣ котораго можно было бы жить и умереть; другъ, всѣ интересы котораго однородны съ вашими, всѣ виды котораго совпадаютъ съ вашими—и такъ до самой могилы!“

Таковъ ея идеалъ. Свое представленіе о романтическомъ бракѣ, она окружала условіями общественности. Но—свѣтъ?.. Этотъ суетный и недобрый свѣтъ, допускалъ ли онъ подобный культъ обоготворенія? И могъ ли найтись человѣкъ, которому было бы подъ силу явить во снѣ подобный возвышенный образъ?

Вчитайтесь въ „Дельфину“, этотъ романъ изъ жизни г-жи де-Сталь. Что говоритъ Дельфина послѣ своего перваго свиданія съ Леонсомъ въ салонѣ г-жи де-Вернонъ? „Я долго бесѣдовала“, говорила она,—„съ нимъ, въ его присутствіи и для него... Каждое слово Леонса только усугуб-

ляло мое уваженіе къ нему, мое восхищеніе имъ. Его образъ рѣчи отличался сжатостію, но рѣчь эта дышала энергіею. И когда онъ употреблялъ выраженія, полныя силъ и краснорѣчія, казалось, онъ все таки высказывался только на половину, и что въ глубинѣ его сердца есть тайныя сокровища чувства и страсти, которыхъ онъ не желалъ расточать. Съ какимъ вниманіемъ онъ удостоивалъ меня слушать! Я не могла прежде представить себѣ ничего болѣе сладостнаго: персживать такія минуты ликованія, возбуждаемаго движеніями души, такое удовлетвореніе самолюбія побѣдой, переходящее въ радости сердца—о, какія счастливыя то минуты!“

Такова рама; таковъ—герой! И герой этотъ — человѣкъ большого свѣта, человѣкъ успѣха, герой академіи; его знаетъ лордъ Нельвиль, который восхищался имъ въ Парижѣ. Онъ человѣкъ серьезно образованный, высокоталантливый, одушевленный желаніемъ болѣе нравиться, чѣмъ стремленіемъ быть полезнымъ; ему нужно признаніе его достоинствъ со стороны салона, даже послѣ того, какъ онъ былъ отличенъ трибуной; живетъ онъ обществомъ и женщинами—и предпочитаетъ, чтобы ему поклонялись, чтобы его любили.

Въ 1781 году Жермена встрѣтилась съ графомъ де-Жиберомъ, и ея идеалъ нашелъ себѣ воплощеніе. Ей тогда было 15 лѣтъ, ему 38; но она была поразительно рано развита умственно; что же касается его, его окружалъ такой ореолъ, что лѣта его были незамѣтны. Она видѣла Жиберера мелькомъ, во время его бесѣды въ салонѣ госпожи Неккеръ. Что-то было импонирующее въ его гордо поднятой головѣ, въ рѣшающемъ тонѣ его рѣчи, въ горделиво надменной запоздавшей его молоджавости, въ нѣсколько искусственной стремительности его бесѣды и весьма рассчитанной сдержанности его поступковъ. Все это въ совокупности поразило ее. Она и не подозрѣвала тонкой искусственности въ проявленіяхъ этого знаменитаго добывателя славы. Тѣмъ временемъ мадемоазель де-Леспинасъ писала ей: „Вы были бы въ состояніи осчастливить пустое сердце и быть виновницей несчастія нѣжной души... Я боюсь того, какъ бы не пришлось вамъ когда-нибудь сказать себѣ: потребность славы утомила мой духъ“.

Мадемуазель де-Леспинасъ извѣдала сама это на дѣлѣ и сама погибала отъ этого; то же самое испытала въ послѣдствіи Жермена Неккеръ, когда потребовала отъ иного Жибера, еще болѣе юнаго и блестящаго, добродѣтели, нѣжности, страстности и генія—всѣхъ тѣхъ качествъ, которыми она украшала героя, являвшагося ей въ ея дѣвичьихъ грезахъ.

Грезы эти отражаются въ ея первыхъ произведеніяхъ. Она пыталась писать стихи, въ чемъ имѣла мало успѣха. Образы не рождались въ ея воображеніи свободно, и она не совлада-
дала ни съ риемой, ни съ размѣромъ. Изъ всѣхъ ея стиховъ, по мнѣнію моему, заслуживаютъ памяти лишь одни: они производятъ впечатлѣніе нѣжностью и страстностью. Вотъ они:

„Ты зовешь меня своею жизнью. Назови меня лучше своею душою: я нуждаюсь въ такомъ твоёмъ словѣ, которое не такъ скоротечно, какъ день... Жизнь мгновенье; дуновение гаситъ ея свѣточъ; но душа безсмертна, какъ безсмертна любовь“.

Первыя произведенія г-жи де-Сталь отличаются сентиментальнымъ направленіемъ. Они, какъ любить отзываться о нихъ ихъ авторъ, чувствительны. Довольно нѣсколькихъ строкъ, чтобы составить себѣ о нихъ понятіе. Мирза (въ сочиненіи „Мирза или письмо путешественника“) говоритъ:

„Когда-то я была любима; я, можетъ быть, желала быть неравнодушной, желала познать то чувство, которое овладѣваетъ всѣмъ бытіемъ и, само по себѣ, одно рѣшаетъ жребій каждаго мгновенія дня“. Но вмѣстѣ съ этимъ Мирза предавалась чтенію и при томъ слишкомъ; въ большей степени предавалась она еще бесѣдѣ и размышленію. „Я“, восклицаетъ она, — „до сего дня не могла ни обманывать себя, ни быть обманутой“. „Мирза“, восклицаетъ Ксимео, — „какъ я жалѣю тебя, прелесть размышленія не можетъ замѣнить собою все; одна только прелесть чувства въ состояніи удовлетворить всѣмъ способностямъ духа“. Однимъ словомъ, ничто въ раннихъ произведеніяхъ г-жи де-Сталь не обличаетъ будущаго писателя; но за то все здѣсь указываетъ на свойство души и выдаетъ въ авторѣ женщину.

Только благодаря автобіографической, единственно инте-